

18+

Юрий Драздов

**Некромант
в белом
халате.
Арка 6**

Юрий Драздов

Некромант в белом халате. Арка 6

«Издательские решения»

Драздов Ю.

Некромант в белом халате. Арка 6 / Ю. Драздов — «Издательские решения»,

Лев Мечников, некромант и хирург, пережил, казалось бы, всё: потерю ребёнка, предательство, изгнание. Но когда его жена и симбиот Лера впадает в кататонический ступор после того, как стала свидетельницей его ритуальной жестокости, он сталкивается с самой страшной операцией в своей жизни. Пока сознание Леры блуждает в пугающем мире, построенном из собственных травм и потерь, Лев отдаёт ей свою некротическую энергию, вырезает сердце из груди собственного конструкта, чтобы поддержать её тело.

© Драздов Ю.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1: Хирургический шок	6
— — Часть 1: Пробуждение тишины	8
Глава 2: Поддержание жизни	21
— — Часть 2: Трансплантация принципа	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Некромант в белом халате. Арка 6

Юрий Драздов

© Юрий Драздов, 2026

ISBN 978-5-0070-0553-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1: Хирургический шок

Хирургия учит нас, что организм имеет предел прочности. Кость выдерживает определённую нагрузку, после которой ломается — не сразу, не с первого удара, но микротрещины накапливаются, растут, соединяются, и однажды даже небольшое усилие приводит к катастрофе. Сердце качает кровь с определённой скоростью, после которой наступает аритмия — сначала редкие сбои, потом частые, потом фатальный хаос фибрилляции. Нервная система обрабатывает определённый объём боли, после которой отключается — не из слабости, а из милосердия. Это защитный механизм, выработанный эволюцией за миллионы лет. Когда боль становится невыносимой, сознание уходит. Оно покидает тело, как пациент покидает операционный стол после неудачной операции — тихо, без крика, почти незаметно для стороннего наблюдателя.

Я знал этот механизм. Я изучал его в ординатуре, в те далёкие времена, когда ещё был живым человеком, а не функционирующим трупом с двумя сердцами и параметром человечности, который таял с каждым днём. Нас учили, что кататонический ступор — это последняя линия обороны психики, её аварийный клапан, который срабатывает, когда все остальные механизмы совладания исчерпаны. Пациент уходит в себя, покидает реальность, потому что реальность стала невыносимой. Он лежит с открытыми глазами, но его там нет. Он дышит, но не живёт. Его сердце бьётся — но это просто мышца, которая ещё помнит свой ритм.

Я видел таких пациентов. В городской больнице, до катастрофы, у нас была целая палата для подобных случаев — жертвы аварий, терактов, насилия. Они лежали месяцами, некоторые годами. Кто-то возвращался — медленно, мучительно, шаг за шагом, как учатся ходить после перелома позвоночника. Кто-то не возвращался никогда. И никто — ни один учебник, ни один профессор, ни один светила психиатрии — не мог сказать, почему одни возвращаются, а другие нет. Потому что сознание — это не орган. Его не вскрыешь скальпелем. Его не проанализируешь спектрометром. Его не заменишь трансплантатом. Сознание — это то, что делает нас нами, и когда оно уходит, мы остаёмся без самого главного. Без себя.

Но я никогда не думал, что увижу это у Леры.

Она пережила «Поводок» — имплант «Бионикой», который превращал людей в марионеток, подавлял волю, заставлял тело подчиняться чужим приказам, пока разум кричал внутри, запертый, беспомощный, incapable даже моргнуть без разрешения. Она пережила удаление этого импланта — операцию без нормальной анестезии, когда я резал её позвоночник, и она чувствовала каждое движение скальпеля, каждый разрез, каждую каплю крови, стекающую по спине, но не кричала — только сжимала зубы и повторяла: «Режь. Я выдержу». Она пережила трансплантацию нейро-спинального комплекса Сестры — процедуру, которая превратила её из человека в симбиота, из медсестры в хищника, из живой женщины в существо, которое функционирует на границе между жизнью и смертью. Она пережила бои — десятки боёв, в которых мы сражались плечом к плечу против мутантов, против «Бионикой», против всего, что этот проклятый мир бросал в нас. Она пережила изгнание из «Ковчега-7» — когда люди, которых мы исцеляли, отвернулись от нас, назвали нас демонами, прогнали в Пустошь, как прокажённых. Она пережила потерю ребёнка — нашего нерождённого сына, который оказался не чудом, а химерой, вирусной тератомой, сгустком мутировавшей плоти, который я вырезал из неё своими руками.

Она прошла через всё это — и не сломалась. Она стала холоднее, расчётливее, хищнее, но не сломалась. Её параметры функционирования оставались стабильными. Её нейро-спинальный комплекс работал без сбоев. Её разум — пусть изменённый, пусть отстранённый, пусть лишённый многих человеческих черт — продолжал анализировать, принимать решения, бороться. Она была несокрушима.

Так мне казалось.

И я, глупец, решил, что могу подвергнуть её чему угодно. Что она — идеальный солдат, неуязвимый для боли и страха. Что наша эмпатическая связь — это только преимущество в бою, а не канал, через который мои собственные демоны проникают в её сознание. Что она выдержит всё — даже зрелище того, как я, её муж, её хирург, её защитник, выпотрошил человека и развесил его внутренности по деревьям, наслаждаясь каждым движением скальпеля.

Я ошибался.

Я ошибался фундаментально, катастрофически, непоправимо. И теперь я платил за эту ошибку — не своей плотью, не своей кровью, а тем единственным, что ещё имело для меня значение. Её разумом. Её душой. Её присутствием.

Моя правая рука дрожала, когда я вёл носилки через Пустошь, и я ничего не мог с этим поделать.

— — Часть 1: Пробуждение тишины

Я проснулся с ощущением неестественной, кристальной ясности. Так бывает после долгой операции, когда все сложные решения уже приняты, все трудные манипуляции позади, и остаётся только накладывать швы — монотонно, методично, успокаивающе. Мир вокруг казался чётким, резким, словно кто-то настроил резкость моего имплант-глаза на абсолютный максимум. Каждая трещина на бетонной стене заброшенного здания, в котором мы ночевали, была видна с фотографической точностью. Каждая пылинка, танцующая в луче утреннего света, пробивающегося сквозь разбитое окно, была очерчена предельно резко. Я лежал на спине и смотрел в потолок — серый, потрескавшийся, с облупившейся краской, которая свисала лохмотьями, — и этот потолок казался мне почти прекрасным в своей разрушенной, энтропийной эстетике.

Почти.

Рядом со мной, на импровизированной постели из армейских одеял, расстеленных на прилавке бывшего магазинчика, лежала Лера. Её глаза были закрыты — она ещё спала. В утреннем свете, который смягчал резкие черты её лица, она выглядела почти умиротворённой. Почти живой. Почти той Лерой, которую я встретил в тоннелях несколько месяцев назад — испуганной, но решительной медсестрой с дрожащими руками и тёплыми, полными жизни глазами. Я смотрел на неё несколько долгих секунд, прежде чем вызвать интерфейс Системы для утренней диагностики. Где-то в углу помещения Пульс тихо посапывал во сне, его три сердца бились в спокойном, восстановительном ритме — рана, полученная в бою с «Чистыми», заживала быстро, как и всё, что было подключено к моей паразитической сети.

[ЗАПРОС НА ДИАГНОСТИКУ.]

[НОСИТЕЛЬ «ЛЕВ МЕЧНИКОВ»: ФУНКЦИОНИРУЕТ.]

[ПАРАМЕТР «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»: 29%. СТАБИЛЕН.]

[ПАРАМЕТР «ХИЩНИК»: 78%. ДОМИНАНТЕН. ПРИМЕЧАНИЕ: ДОСТИГНУТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕДАТОРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НОСИТЕЛЬ ВПЕРВЫЕ ДЕМОНИСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ АБСОЛЮТНОЙ, НЕ СПРОВОЦИРОВАННОЙ УГРОЗОЙ ЖЕСТОКОСТИ.]

[РЕКОМЕНДАЦИЯ: ПРИНЯТЬ НОВЫЙ МОДУС ДЕЙСТВИЙ.]

Я закрыл интерфейс и несколько секунд просто смотрел в потолок. Двадцать девять процентов человечности. Ещё несколько дней назад, после потери ребёнка, этот показатель рос — парадоксальным образом, горе возвращало мне то, что я считал утраченным. Каждая слеза, каждое болезненное воспоминание, каждая минута, проведённая в молчании над телом нашего нерождённого сына, делала меня чуть более человеком. Теперь этот показатель снова падал. Мечь, которую я считал лекарством, оказалась ядом — не для тела, для души. Или того, что от неё осталось.

Но странное дело: я не чувствовал сожаления. Я вообще ничего не чувствовал. Только ясность. Ту самую кристальную ясность, которая приходит после того, как всё лишнее выре-

зано, всё больное удалено, всё, что могло болеть, иссечено до здоровой ткани. Вот только здоровой ткани больше не осталось. Остался только хирург. Нет — палач. И палач не сожалеет о своей работе. Палач просто делает то, что должен, и идёт дальше.

Я думал о командире «Чистых». О том, как его внутренности блестели в свете закатного солнца, растянутые между ветвями мутировавших деревьев, словно праздничные гирлянды в каком-то извращённом, патологоанатомическом ритуале. О том, как его глаза — всё ещё живые, всё ещё видящие, всё ещё способные чувствовать боль — смотрели на меня с невыразимым ужасом, когда я извлекал петлю за петлёй его кишечника и развешивал их на ветвях с аккуратностью, которой позавидовал бы любой хирург. О том, как мои руки работали с точностью, которой я никогда не достигал в обычных операциях — ни одного лишнего разреза, ни одного повреждённого сосуда, ни одной ошибки. Это была идеальная операция. Самая совершенная из всех, что я когда-либо проводил. И её целью было не исцеление. Её целью была боль. Максимальная, растянутая во времени, доведённая до абсолюта боль.

Это было красиво. В извращённом, патологоанатомическом смысле — красиво. Я превратил человеческое тело в произведение искусства. В послание. В предупреждение, которое будут находить другие «Чистые» — и которое скажет им: «Не ходите за нами. Не ищите нас. Оставьте нас в покое. Потому что Чумная пара не прощает. Чумная пара не забывает. Чумная пара — это то, что приходит за теми, кто осмелился поднять руку на нашу стаю».

И Лера смотрела на это.

Она стояла в тени деревьев и смотрела, как я работаю. Её лицо было забрызгано кровью — не своей, чужой, вражеской, — но она не вытирала его. Её глаза, карие и пустые после потери ребёнка, не выражали ни ужаса, ни отвращения, ни одобрения. Они просто смотрели. Два объектива, фиксирующих реальность. Два окна в сознание, которое уже начало закрываться. А потом, когда всё закончилось — когда последняя петля кишечника была растянута, когда последний крик командира затих, когда я отошёл от своего произведения, чтобы полюбоваться им, — она подошла ко мне. Её движения были плавными, как всегда после трансплантации нейро-спинального комплекса. Её лицо не выражало эмоций. Её глаза смотрели сквозь меня — или, может быть, внутрь меня, в ту бездну, которую я сам боялся увидеть. Она взяла мою окровавленную руку — правую руку, ту самую, которая когда-то дрожала от слабости, а теперь держала скальпель с непоколебимой твёрдостью, — и поднесла её к своим губам. И поцеловала окровавленные пальцы.

«Это было человечно, — сказала она тогда. — В самом извращённом смысле этого слова».

Теперь, при свете утра, я понимал, что это было не одобрение. Это был шок. Последняя стадия шока перед полным отключением. Она была настолько сломана потерей ребёнка, настолько опустошена, настолько истощена эмоционально, что зрелище ритуальной казни не вызвало у неё естественной реакции. Её психика уже начала отключаться — просто я был слишком занят своей мстью, своим искусством, своим триумфом, чтобы заметить. Я видел только то, что хотел видеть: её улыбку — или то, что я принял за улыбку, — её жест одобрения, её принятие моей новой роли. Я не видел, что она тонет. Я не видел, что она уходит. Я не видел, что моими руками — теми самыми руками, которые должны были защищать её, — я толкаю её в бездну.

— Лера, — позвал я, поворачиваясь к ней. — Утро. Пора выдвигаться.

Она не ответила. Её глаза были закрыты, дыхание — ровным, спокойным, как у спящего ребёнка.

— Лера. — Я повысил голос. Он прозвучал громче, чем я хотел, усиленный некротической модуляцией, и эхо заметалось между бетонных стен. — Нам нужно идти. До бункера несколько дней пути. Если мы выйдем сейчас, то к вечеру будем...

Я осёкся. Потому что она не двигалась.

Обычно Лера просыпалась мгновенно — сказывались недели тренировок и боев, которые превратили её из обычной медсестры в боевую машину. Её нейро-спинальный комплекс переключался из режима сна в режим бодрствования за доли секунды, и она открывала глаза уже полностью готовой к действию. Но сейчас она лежала неподвижно. Как кукла. Как труп.

Я коснулся её плеча. Никакой реакции. Я коснулся сильнее, слегка встряхнув её — так, как делал это десятки раз, когда она спала после долгих переходов. Её веки дрогнули — и открылись.

И я увидел пустоту.

Её глаза, карие и обычно такие выразительные — холодные ли, тёплые ли, но всегда живые, всегда наполненные чем-то: страхом, решимостью, надеждой, яростью, любовью, — теперь были как два куска стекла. Как два мутных, лишённых блеска осколка. Они смотрели в потолок, но не видели его. Зрачки были расширены — неестественно широко, во всю радужку, — и не реагировали на свет, когда я провёл рукой перед её лицом. Лицо — абсолютно расслабленное, лишённое какого-либо напряжения или выражения — напоминало посмертную маску. Те самые маски, которые в древности снимали с умерших, чтобы сохранить их черты для потомков. Только Лера не была умершей. Её сердце билось — я слышал его через паразитическую сеть, ровное, ритмичное, семьдесят два удара в минуту. Её лёгкие дышали — четырнадцать вдохов в минуту, ровно столько, сколько требовалось для поддержания кислородного обмена. Её нейро-спинальный комплекс функционировал — я видел его активность в спектре имплант-глаза, слабое фиолетовое свечение вдоль позвоночника. Но её не было.

— Лера, — произнёс я, и мой голос, усиленный некротической модуляцией, прозвучал громче, чем я хотел — в нём прорвались те самые интонации, которые я считал утраченными. — Ты слышишь меня? Если ты меня слышишь — моргни. Пошевели пальцем. Сделай хоть что-нибудь.

Никакой реакции.

Я провёл рукой перед её лицом — медленно, слева направо, затем справа налево. Её зрачки не шелохнулись. Вообще ничего. Никакого рефлекса. Никакой попытки сфокусироваться. Я взял её руку — тёплую, но абсолютно безвольную, как у тряпичной куклы, — и слегка сжал пальцы. Никакого ответного пожатия. Никакого рефлекторного движения. Я ущипнул кожу на тыльной стороне ладони — достаточно сильно, чтобы вызвать болевую реакцию у любого живого существа. Ничего. Даже мускул не дрогнул.

Первая волна холода прокатилась по моей паразитической сети — не физический холод, а тот особый, который я научился распознавать как сигнал тревоги. Моя правая рука, которая после вчерашней казни была спокойна как никогда — ни намёка на дрожь, ни единого тремора, — снова начала дрожать. Мелко, почти незаметно, но я чувствовал эту дрожь, и она раздражала меня больше, чем любая физическая боль. Потому что она напоминала мне о том, что я всё ещё не машина. Что я всё ещё — где-то глубоко внутри, на уровне, который не затрагивали никакие импланты, — остаюсь человеком. Слабым, испуганным, беспомощным человеком.

— Система, — произнёс я, и мой голос был холоднее, чем обычно, — клинический режим. Полная диагностика носителя «Лера». Приоритет: экстренный. Задействовать все доступные сенсоры.

Интерфейс вспыхнул перед моим внутренним взором — ярче, чем обычно, словно Система тоже чувствовала серьёзность момента и мобилизовала все ресурсы. Данные начали обрабатываться с максимальной скоростью, и я ждал, глядя на Леру, и каждая секунда этого ожидания была наполнена холодным, липким страхом, который я не мог подавить никакими клиническими протоколами. Пульс, который проснулся от звука моего голоса, подошёл и сел рядом с носилками, положив голову на колени Леры. Его жёлтые глаза, светящиеся тем же некротическим огнём, что и мои, смотрели на меня с выражением, которое я мог бы назвать тревогой. Или пониманием. Или, может быть, отражением моего собственного страха.

[ДИАГНОСТИКА НОСИТЕЛЯ «ЛЕРА»: ЗАВЕРШЕНА.]

[ВИТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: СЕРДЦЕБИЕНИЕ — 72 УДАРА В МИНУТУ (НОРМА). ДЫХАНИЕ — 14 ВДОХОВ В МИНУТУ (НОРМА). ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА — 36.6 (НОРМА). КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ — 120/80 (НОРМА).]

[НЕЙРО-СПИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХИМЕРА-9»: ФУНКЦИОНИРУЕТ. АКТИВНОСТЬ — 43% ОТ НОРМЫ. ПРИЧИНА ПОНИЖЕННОЙ АКТИВНОСТИ: ЗАЩИТНЫЙ ПРОТОКОЛ «ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ».]

[ЭМПАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ: АКТИВНА, НО СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ. НОСИТЕЛЬ «ЛЕРА» НЕ ПЕРЕДАЁТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. НЕ ПРИНИМАЕТ ВХОДЯЩИЕ СИГНАЛЫ. СВЯЗЬ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОДНОСТОРОННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ.]

[ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС: ОСТРЫЙ ДИССОЦИАТИВНЫЙ СТУПОР (КАТАТОНИЯ). КОД ПО МКБ-10: F44.2. ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВНОЙ, ПОСКОЛЬКУ СОСТОЯНИЕ НОСИТЕЛЯ «ЛЕРА» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ НИ ОДНОМУ ИЗВЕСТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В СВЯЗИ С МОДИФИКАЦИЕЙ ОРГАНИЗМА НЕЙРО-СПИНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ.]

[ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА: ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА. НАЛОЖЕНИЕ ТРАВМ: ПОТЕРЯ ПЛОДА (НЕДЕЛЮ НАЗАД, ТРАВМА НЕ ПРОРАБОТАНА) + ЭМПАТИЧЕСКАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ АКТА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЖЕСТОКОСТИ (ВЧЕРА, ЧЕРЕЗ СИМБИОТИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ). НЕЙРО-СПИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСЦЕНИЛ СОВОКУПНЫЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА КАК НЕСОВМЕСТИМЫЙ С СОХРАНЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИЛ ВЫСШИЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБРАТИМОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ.]

[РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕМЕДЛЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ. ПОЛНЫЙ ПОКОЙ. НЕЙРО-СТИМУЛЯЦИЯ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (НЕВОЗМОЖНО В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ). УСТРАНЕНИЕ ИСТОЧНИКА ТРАВМЫ (ВРЕМЕННОЕ РАЗРЫВЕНИЕ ЭМПАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С НОСИТЕЛЕМ «ЛЕВ МЕЧНИКОВ».)]

Я перечитал последнюю строку несколько раз. Кататония. Диссоциативный ступор. Отключение высших функций. Я знал этот диагноз. Я знал его слишком хорошо — не только из учебников, но и из клинической практики. В ординатуре нам показывали пациентов с этим состоянием — жертв катастроф, терактов, тяжёлых операций, длительного насилия. Они лежали на больничных койках месяцами, не двигаясь, не говоря, не реагируя на внешние стимулы. Некоторые возвращались — их сознание медленно, шаг за шагом, всплывало из темноты, как водолаз поднимается с большой глубины, боясь кессонной болезни. Некоторые не возвращались никогда — их тела продолжали функционировать, но личности исчезали, растворялись, оставляя после себя только биологическую оболочку.

И теперь это случилось с Лерой. Не с каким-то абстрактным пациентом из учебника психиатрии. Не с незнакомцем, которого я видел раз в жизни. С Лерой. С моей женой. С моим симбиотом. С женщиной, которая прошла через ад и выбралась из него — как мне казалось — сильнее, чем была.

Я ошибался. Она не выбралась. Она просто откладывала падение. А когда падение наконец случилось — оно было страшнее всего, что я мог представить.

— Лера, — позвал я снова, уже понимая, что это бесполезно, но не в силах остановиться. — Если ты меня слышишь... подай знак. Моргни. Пошевели пальцем. Что угодно. Я здесь. Я рядом. Я не уйду. Просто дай мне знать, что ты там. Что ты всё ещё там.

Никакой реакции.

Я взял её руку в свою и поднёс к губам — так же, как она вчера поднесла к губам мою окровавленную ладонь. Её пальцы были тёплыми, но безвольными. Никакого ответного жжения. Никакого рефлекторного движения. Ничего. Как будто я держал руку не живого человека, а восковой фигуры.

Я попытался установить эмпатическую связь на полную мощность. Это было непросто — для этого требовалось сосредоточение, которое сейчас давалось мне с трудом. Мои мысли разбегались, как испуганные тараканы, и мне пришлось применить клинический протокол самоконтроля — тот самый, который я использовал перед сложными операциями, — чтобы загнать их обратно в упорядоченную структуру. Я закрыл глаза. Замедлил дыхание — насколько это было возможно для существа, которое не нуждалось в дыхании. Сосредоточился на паразитической сети — на том сложном переплетении некротической энергии, которое соединяло меня с Лерой, с Пульсом, со Стрелком, со всем, что я создал и модифицировал. И послал импульс через эту сеть — тот самый импульс, который всегда вызывал у Леры ответный отклик. Тёплый, если она была спокойна. Холодный и острый, если она была в боевом режиме. Но всегда — ответ. Всегда — эхо, возвращающееся ко мне и подтверждающее: «Я здесь. Я с тобой. Мы вместе».

Сейчас ответа не было.

Вместо привычного фона — сложной, многослойной симфонии эмоций, мыслей, намерений, которая составляла личность Леры, — я наткнулся на стену. Абсолютную, звенящую тишину. Не пустоту — пустота подразумевает отсутствие, а здесь было присутствие, но какое-то иное, непостижимое. Как будто комната, в которой всегда играла музыка, внезапно опустела. Как будто инструменты — нейроны, синапсы, нейро-спинальные связи — всё ещё были там, но музыкант ушёл. Исчез. Растворился в тишине.

Это было страшнее, чем если бы Лера умерла.

Смерть я понимаю. Смерть — это конец функционирования. Ткани перестают регенерировать. Клетки перестают делиться. Сердце останавливается. Мозг умирает. Это просто, это понятно, это поддаётся анализу. Я работаю со смертью каждый день. Я воскрешаю мёртвую плоть и превращаю её в конструктор. Я извлекаю органы из трупов и имплантирую их живым. Я знаю смерть вдоль и поперёк — от первых признаков трупного окоченения до последней стадии разложения. Смерть — это моя специальность, моя стихия, моё ремесло.

Но это была не смерть. Это было отсутствие. Лера была здесь — её тело функционировало, её сердце билось, её лёгкие дышали, её нейро-спинальный комплекс работал, — но её самой не было. И я не знал, как вернуть её. Не знал, где её искать. Не знал, слышит ли она меня вообще — или мои слова уходят в ту же бездну, в которую ушла она сама.

— Ты не можешь уйти, — произнёс я, и мой голос дрогнул. Тот самый голос, который всегда был ровным и безэмоциональным, который я модулировал через импланты, чтобы он звучал как можно более нейтрально, — этот голос дал трещину. — Ты не можешь уйти сейчас. Не после всего, что мы прошли. Не после всего, что мы пережили. Мы потеряли ребёнка — я знаю, как это больно. Я чувствовал эту боль вместе с тобой. Мы потеряли надежду — я знаю, как это страшно. Я чувствовал этот страх. Но мы не потеряли друг друга. Мы всё ещё функционируем. Мы всё ещё вместе. Мы всё ещё...

Я осёкся. Потому что это была неправда. Мы больше не были вместе. Я был здесь — а её не было. И то, что я говорил сейчас — эти жалкие, беспомощные слова, — не имело значения. Не имело смысла. Имело значение только то, что я буду делать. А делать я должен был то, что делал всегда, с первой минуты нашего знакомства. Лечить. Оперировать. Искать решение. Не эмоциями — эмоции были роскошью, которую я не мог себе позволить. Не надеждой — надежда была ядом, который уже однажды ослепил меня. А холодным, клиническим расчётом. Тем самым расчётом, который превратил меня из врача в Некроманта — и который, возможно, мог превратить меня обратно.

— —

Я провёл следующий час за работой. Это был час, наполненный лихорадочной, почти маниакальной активностью — той самой, которая охватывает хирурга, когда на операционном столе лежит пациент в критическом состоянии, и каждая секунда промедления уменьшает его шансы на выживание. Я подключил портативное диагностическое оборудование, которое мы захватили в «Горгоне», к нейро-спинальному комплексу Леры. Развернул интерфейс Системы на полную мощность — все четыре ядра моего импланта работали с максимальной нагрузкой, обрабатывая гигабайты данных, поступающих от сенсоров. Начал углублённый анализ — уровень за уровнем, параметр за параметром, пытаюсь понять, что именно произошло и можно ли это обратить вспять.

Нейро-спинальный комплекс «Химера-9», который я имплантировал Лере несколько недель назад, был спроектирован как адаптивная система. Я знал это — я изучал его архитектуру перед операцией, я картировал его нейронные связи, я протестировал его на совместимость с организмом Леры. Это была сложная, многоуровневая структура, унаследованная от Сестры — одного из самых совершенных биоорганических конструкторов, созданных «Бионикой». Комплекс мог подавлять иммунные реакции, делая возможной трансплантацию тканей, которые в обычных условиях были бы отторгнуты. Мог усиливать нервные сигналы, делая Леру быстрее и точнее в бою. Мог ускорять регенерацию, позволяя ей восстанавливаться после ранений, которые убили бы обычного человека. Мог перенаправлять ресурсы организма на защиту плода — как он делал во время беременности, жертвуя мышечной массой и скоростью реакции ради выживания эмбриона.

Но он не был спроектирован для обработки эмоциональных травм. Он не был психотерапевтом. Он был боевым имплантом, созданным для войны, для убийства, для выживания в экстремальных условиях. И когда эмоциональная нагрузка превысила его способность к адаптации — когда потеря ребёнка, наложившаяся на трансляцию акта экстремальной жестокости через эмпатическую связь, создала пиковый уровень стресса, — он сделал то, что делает любая система при перегрузке.

Он отключился.

Не полностью — базовые функции поддержания жизнедеятельности продолжали работать. Сердце билось. Лёгкие дышали. Органы функционировали. Но высшие функции — те, которые были связаны с личностью, с эмоциями, с сознанием, с самой сутью того, что делало Леру Лерой, — были принудительно деактивированы. Нейро-спинальный комплекс, унаследованный от Сестры и настроенный на максимальную эффективность, провёл анализ ситуации и принял решение: сохранение носителя как биологического организма важнее, чем сохранение его как личности. Он пожертвовал разумом ради выживания тела. Он отсёк повреждённую часть, как хирург отсекает гангренозную конечность — быстро, решительно, без колебаний.

Это было эффективно. Это было логично. Это было именно то, что сделал бы я — или сама Лера — в аналогичной ситуации. Если бы мы были машинами. Если бы мы были просто биологическими организмами, оптимизированными для выживания.

Но мы не были машинами. Мы были людьми — или, по крайней мере, когда-то были ими. И это решение, каким бы логичным оно ни было, уничтожило Леру так же верно, как уничтожила бы пуля в голову. Потому что тело без разума — это не человек. Это оболочка. Это конструктор, ожидающий приказов. Это материал для моих операций — не больше.

Я сидел рядом с ней, глядя на данные, которые выводила Система, и прокручивал в голове последние дни. Недели. Месяцы. Всю историю наших отношений — от первой встречи в тоннелях до вчерашней казни. Я искал точку, в которой всё пошло не так. Момент, когда я мог остановиться, но не остановился. Решение, которое я мог принять иначе, но не принял.

И я находил их — десятки таких моментов. Когда я впервые предложил Лере стать моим ассистентом на операции — вместо того чтобы отправить её в безопасное место. Когда я начал обучать её бою — вместо того чтобы оставить ей шанс на мирную жизнь. Когда я имплантировал ей нейро-спинальный комплекс — вместо того чтобы найти другой способ восстановить её

подвижность. Когда я вовлёк её в свадебный ритуал — вместо того чтобы сохранить дистанцию между нами. Когда я транслировал ей свою боль, свою ярость, свою жажду мести через эмпатическую связь — вместо того чтобы оградить её от своих демонов.

Каждое из этих решений казалось правильным в момент принятия. Каждое было обосновано — тактически, медицински, логически. Но все вместе они привели к катастрофе. К телу, которое лежало на носилках и смотрело в небо пустыми глазами. К женщине, которая была моей парой, моим симбиотом, моей женой — и которая теперь отсутствовала.

— Я хотел как лучше, — произнёс я вслух, обращаясь к Лере, которая не могла меня слышать. — Я всегда хотел как лучше. Когда удалял тебе «Поводок» — хотел вернуть тебе свободу. Когда имплантировал нейро-спинальный комплекс — хотел сделать тебя сильнее, чтобы ты никогда больше не была беспомощной. Когда мы поженились в морге — хотел дать тебе будущее, нашу общую цель, наш смысл. Когда узнал о беременности — хотел дать тебе надежду, мечту, ради которой стоит жить. Я всегда хотел как лучше.

Я замолчал. Тишина в заброшенном магазинчике была такой глубокой, что я слышал, как ихор пульсирует в моих сосудах — медленно, размеренно, словно отсчитывая секунды до следующей катастрофы. Пульс, который всё это время лежал рядом с Лерой, поднял голову и посмотрел на меня. Его жёлтые глаза, светящиеся некротическим огнём, были полны чего-то, что я мог бы назвать пониманием. Или укором. Или просто отражением моего собственного горя.

— Но каждый раз получалось только хуже, — продолжил я. — Каждый раз мои действия приводили к новым страданиям. Я думал, что исцеляю тебя, а на самом деле просто менял одну травму на другую. Я думал, что делаю тебя сильнее, а на самом деле просто отнимал у тебя человечность — кусок за куском, операция за операцией. И вчера... вчера было хуже всего. Потому что я не просто причинил тебе боль — я заставил тебя смотреть, как я причиняю боль другому. Я использовал нашу связь — нашу любовь, или что там от неё осталось, — чтобы заручиться твоим одобрением. Я превратил тебя в соучастницу. И когда ты поцеловала мои окровавленные пальцы и сказала, что это человечно... ты не одобряла меня. Ты прощалась. Со мной. С собой. С тем, что мы потеряли и что никогда не вернуть.

Я взял её руку и поднёс к своей груди — туда, где под слоями шрамов и хитиновых пластин пульсировали два сердца. «Сердце берсерка» и «Сердце Архивариуса». Два чуждых друг другу органа, которые я заставил работать вместе. Два символа моей утраченной человечности — и моей приобретённой чудовищности.

— Я верну тебя, — сказал я. — Я не знаю как. Я не знаю, сколько времени это займёт. Возможно, это вообще невозможно — и я просто обманываю себя, как обманывал, когда верил, что наш ребёнок жизнеспособен. Но я попытаюсь. Я буду пытаться, пока функционирую. Пока бьются мои сердца. Пока моя паразитическая сеть способна передавать сигналы. Потому что ты — всё, что у меня осталось. Потому что без тебя я не Некромант и не врач. Я просто труп, который забыл остановиться.

Она не ответила. Но где-то глубоко в моей паразитической сети, на самой границе восприятия, что-то дрогнуло. Очень слабо. Очень далеко. Словно эхо далёкого сердцебиения. Словно ответ на клятву, которую я дал самому себе.

Или, может быть, мне просто показалось. Потому что я тоже был на грани — не кататонии, но чего-то близкого. Чего-то, что не имело медицинского названия, но ощущалось как пропасть, разверзшаяся под ногами.

Я встал. Вытер лицо — оно было мокрым, хотя я не помнил, когда плакал; возможно, это просто конденсат от дыхания, возможно, что-то другое. Начал готовиться к отступлению. К возвращению в бункер. К последней, самой важной операции в моей жизни.

— —

Я разобрал лагерь за тридцать семь минут. Каждое движение было выверенным, эффективным, лишённым суеты. Я свернул одеяла — те самые армейские одеяла, под которыми мы спали вместе, когда верили, что у нас будет будущее. Я упаковал медицинское оборудование — скальпели, зажимы, расширители, портативный секвенатор ДНК, контейнеры с ихором, который мы добыли в логове червей, рискуя жизнью. Я проверил оружие — пистолеты-пулемёты, которые Лера всегда носила с собой, теперь лежали без дела; я разрядил их и убрал в рюкзак.

Санитар-2-Стрелок, стоявший на посту у входа в магазинчик, получил команду перейти в режим сопровождения. Его оптический сенсор, горящий ровным зелёным светом, просканировал меня — вероятно, оценивая моё состояние, — и он кивнул. «Принято», — произнёс его голосовой модулятор. Я модернизировал его после гибели Бегуна, и теперь он говорил почти как живой человек. Почти.

Пульс поднялся с пола, отряхнулся и занял позицию рядом с Лерой. Его рана, полученная в бою с «Чистыми», уже почти зажила — моя паразитическая сеть ускоряла регенерацию всех подключённых к ней организмов. Но он всё ещё был слаб, и его движения были чуть медленнее обычного. Я видел это — и делал поправку в тактических расчётах.

Оставалось самое сложное — транспортировка.

Я не мог нести Леру на руках весь путь до бункера. Это было около трёх дней пешком в обычном темпе — а с грузом в шестьдесят с лишним килограммов, даже усиленный некротической энергией, я выдохся бы уже к вечеру первого дня и стал бы лёгкой добычей для любого мутанта. Мне нужны были носилки — прочные, надёжные, такие, чтобы Лера не упала с них, даже если мне придётся сражаться на ходу.

Я использовал свой плащ — тот самый, который был на мне во время казни командира «Чистых». Я снял его и разложил на полу. Ткань была покрыта засохшей кровью — не моей, вражеской, — и я на мгновение задержал на ней взгляд. Кровь командира. Кровь, которую я пролил не ради выживания, а ради мести. Кровь, которая теперь казалась мне не знаком победы, а клеймом позора. Я встряхнул плащ, и несколько тёмных чешуек упали на пол.

Затем я вышел наружу, к краю леса-аномалии, и выбрал две прочные ветки от мутировавшего дерева. Его древесина была странной — тёмной, почти чёрной, с прожилками светящейся грибницы, которая пульсировала слабым оранжевым светом. Она была прочнее обычного дерева — её волокна были усилены некротической энергией, пронизывающей всю экосистему аномального леса. Я срезал ветки когтем — они поддались с трудом, оставляя на лезвии липкий, светящийся сок, — и вернулся в магазинчик.

Я соорудил носилки. Плащ я натянул между двумя ветками, закрепив его полосами ткани, которые оторвал от своего поддоспешника. Конструкция получилась грубой, но функциональной — армейские носилки в миниатюре. Я проверил её на прочность, надавив коленом в центр плаща, и она выдержала.

Затем я осторожно, стараясь не причинить Лере лишнего дискомфорта — хотя она всё равно не чувствовала ничего, — перенёс её с постели на носилки. Её тело было безвольным, как у тряпичной куклы. Голова запрокинулась, и мне пришлось подложить под неё свёрнутое одеяло, чтобы зафиксировать шею и предотвратить западение языка — чисто рефлекторная мера, потому что дыхательные пути Леры контролировались нейро-спинальным комплексом и не могли заблокироваться. Руки я сложил на груди — так, как складывают руки покойникам. От этой мысли мне стало не по себе, и я переложил их вдоль тела. Так было менее... ритуально. Менее похоже на подготовку к похоронам.

— Стрелок, — приказал я, когда всё было готово. — Ты идёшь в авангарде. Дистанция — пятьдесят метров. При обнаружении угрозы — немедленно докладываешь. В бой вступаешь только по моей команде. Твоя приоритетная задача — защита носителя «Лера». Понял?

— Принято, — ответил конструктор. — Функция: разведка и защита. Приоритет: носитель «Лера».

— Пульс. — Я повернулся к псу. — Ты рядом с носилками. Если кто-то попытается атаковать с фланга или с тыла — твоя задача защищать Леру. Никаких героических атак. Никаких преследований отступающего врага. Только защита. Ты ранен — я знаю. Но ты нужен мне. Ты нужен ей.

Пёс коротко гавкнул. Его жёлтые глаза, светящиеся некротическим огнём, были полны решимости. Он понимал важность миссии. Может быть, даже лучше, чем я. Может быть, его модифицированный мозг, в который я имплантировал фрагменты нейро-спинальной сети, был способен улавливать нюансы, недоступные моему сознанию.

— Тогда выдвигаемся, — сказал я, берясь за ручки носилок.

Мы вышли из магазинчика и направились на северо-запад — туда, где в нескольких днях пути находился бункер. Наш дом. Наша крепость. Единственное место в этом проклятом мире, где мы могли быть в относительной безопасности. Там были ресурсы: медикаменты, оборудование, энергия. Там были Майя и Аякс — последние члены нашей группы, которые ещё не пострадали от моих решений. Там был шанс — возможно, призрачный, возможно, иллюзорный, но шанс — на восстановление Леры.

Пустошь расстилалась перед нами, серая и безжизненная. Солнце уже поднялось над горизонтом и начинало припекать — даже сквозь вечный смог его лучи несли достаточно тепла, чтобы нагреть воздух до некомфортных тридцати градусов. Ветер гнал по земле клубы серой пыли, которая оседала на нашей одежде, на носилках, на неподвижном лице Леры. Где-то вдалеке кричали мутанты — дневная перекличка хищников, обозначающих свою территорию.

Я шёл и разговаривал с Лерой. Не потому, что думал, что она меня слышит. А потому, что тишина была невыносимой. Потому что молчание наполняло мою голову мыслями, которые я не хотел думать. Потому что, пока я говорил, я мог притворяться, что всё ещё есть надежда.

— Помнишь нашу первую встречу? — спрашивал я, глядя на дорогу. — Ты была в тоннелях, вместе с группой выживших. Я вышел к вам из темноты, и ты испугалась. Я видел это по твоим глазам — они были расширены, а пульс участился до ста двадцати ударов в минуту. Но ты не побежала. Ты осталась. Ты держала скальпель — тот самый, который взяла в разграбленной аптеке, — и была готова защищать свою группу, хотя сама едва стояла на ногах от истощения. Я тогда подумал: «Она сильная. Она выживет».

Лера не отвечала. Её глаза, открытые и пустые, смотрели в небо. Ветер трепал её волосы, которые рассыпались по одеялу, и в этом движении было что-то живое — единственное живое, что ещё оставалось в её теле.

— А потом ты ассистировала мне на первой операции в бункере, — продолжал я. — У пациента был разорван аппендикс, начинался перитонит. Антибиотиков не было — мы использовали последние запасы на предыдущих раненых. Я должен был оперировать в антисанитарных условиях, с инструментами, которые не проходили нормальной стерилизации. И ты стояла рядом и подавала мне инструменты. Твои руки дрожали — я видел это, — но ты ни разу не ошиблась. Ни разу не подала не тот зажим или не тот скальпель. Когда операция закончилась и пациент выжил, ты посмотрела на меня и сказала: «Я хочу научиться этому. По-настоящему». И я согласился учить тебя.

Я обогнул особенно глубокую трещину в асфальте, из которой поднимался горячий пар — геотермальная активность, напоминание о том, что земля под нашими ногами была такой же израненной и больной, как и всё остальное.

— Помнишь, как я учил тебя накладывать швы? Ты тренировалась на куске свиной кожи, который я раздобыл на старом складе. Ты наложила сорок три шва, прежде чем получился ровный. Сорок три. Любой другой на твоём месте бросил бы после десятого. Но ты продолжала — час за часом, день за днём, — пока твои пальцы не запомнили каждое движение. И когда ты наконец наложила идеальный шов — ровный, аккуратный, с правильным натяжением нити, — ты улыбнулась. Это была первая улыбка, которую я увидел у тебя после удаления «Поводка». И я... — я запнулся. — Я тогда почувствовал что-то. Что-то, что давно забыл. Гордость? Радость? Или, может быть, просто удовлетворение от того, что я сделал что-то правильное.

Пульс тихо заскулил, словно понимая, о чём я говорю. Или, может быть, просто реагируя на мой тон — грустный, ностальгический, совершенно непохожий на обычную клиническую отстранённость.

— А помнишь нашу свадьбу? — мой голос дрогнул, но я заставил себя продолжать. — В морге, среди трупов и контейнеров с органами. Мы не могли найти священника — все церкви были разрушены, а те немногие выжившие священники либо обезумели, либо стали фанатиками вроде «Чистых». Мы не могли найти кольца — весь металл в округе был либо ржавым, либо использован для оружия. Мы не могли найти ничего, что обычно бывает на свадьбах — цветов, музыки, гостей. Но мы нашли друг друга. Мы стояли в том морге, при свете аварийных ламп, и смотрели друг на друга. И я сказал: «Давай сделаем это. Не по традиции. По-нашему». И ты согласилась.

Я остановился на мгновение, чтобы поправить носилки — они начали сползать с плеча.

— Мы сделали надрезы на ладонях — я своим скальпелем номер десять, тем самым, которым убил Сестру и провёл сотни операций. Твоя кровь и мой ихор смешались. Мы соединили руки, и я почувствовал, как наша симбиотическая связь активизируется — не просто как медицинская процедура, а как что-то большее. Как клятва. Ты посмотрела на меня — твои глаза тогда ещё были тёплыми, живыми, полными надежды, — и сказала: «Это самое романтическое, что со мной случалось». А я ответил: «Я функционирую для тебя». И ты рассмеялась. Это был последний раз, когда я слышал твой смех. Настоящий, живой смех — не холодную усмешку хищника, а тот смех, который был у тебя до всего этого. До «Поводка». До операций. До того, как я превратил тебя в оружие.

Я снова замолчал. Воспоминания нахлынули на меня, и я не мог отбиваться от них — они были сильнее любой *defences*, которую я мог выстроить.

— А потом был ребёнок, — тихо сказал я. — Мы узнали о нём, и всё изменилось. Мы, двое мёртвых существ, которые функционируют только благодаря имплантам и некротической энергии, осмелились поверить, что у нас может быть будущее. Что мы можем создать что-то живое. Что-то чистое. Что-то, что будет лучше нас. Мы начали строить планы — как назовём его, как воспитаем, как научим всему, что знаем сами. Ты говорила, что хочешь, чтобы он был врачом — как я. Или, может быть, не врачом. Может быть, кем-то другим. Кем-то, кто не будет знать ни боли, ни войны, ни потерь. Кем-то, кто вырастет в мире, который мы построим для него.

Я почувствовал, как моя правая рука снова начинает дрожать, и сильнее сжал ручку носилок.

— Но мира не получилось. Ребёнка не получилось. Эмбрион оказался химерой — вирусной тератомой, ошибкой, которая никогда не должна была существовать. И мне пришлось вырезать его из тебя. Своими руками. Тем же скальпелем, которым я делал наш свадебный надрез. Я держал в ладонях то, что должно было стать нашим сыном, и это был даже не ребёнок. Это был сгусток мутировавшей плоти с многокамерным сердцем и хаотичными нервными узлами. И я сжёг его. Своим когтем. Превратил в пепел. И когда я делал это, я чувствовал, как что-то внутри меня умирает. Надежда. Будущее. Смысл всего, что мы делали.

Пульс снова заскулил и ткнулся носом в мою ногу. Я машинально погладил его по голове.

— А вчера... — я запнулся. Слова давались тяжело, как будто каждое из них было вырезано из моей собственной плоти. — Вчера я убил человека. Не просто убил — я пытал его. Я вскрыл его брюшную полость, извлёк кишечник, растянул его между ветвями деревьев, как гирлянду. Я сделал это не ради выживания. Не ради защиты нашей группы. Я сделал это ради мести — чистой, незамутнённой, холодной мести. Я хотел, чтобы кто-то заплатил за нашу боль. За твою боль. За боль нашего нерождённого сына. И я заставил тебя смотреть на это. Я транслировал каждое движение скальпеля через нашу эмпатическую связь. Я наполнил твоё сознание образами, которые не должен видеть ни один человек — тем более человек, который только что потерял ребёнка и находился на грани нервного срыва.

Я остановился посреди Пустоши. Носилки качнулись и замерли. Ветер выл среди развалин, и в этом вое мне слышался голос командира «Чистых» — его предсмертные крики, его мольбы о пощаде, которые я проигнорировал.

— Я думал, что это исцелит нас, — произнёс я, глядя на неподвижное лицо Леры. — Я думал, что общая месть — это то, что скрепит нашу стаю. Что хищник внутри тебя проснётся от запаха крови и снова захочет жить. Но я ошибался. Я ошибался во всём. Это не исцелило. Это разрушило. Я разрушил тебя, Лера. Не вирус. Не «Бионикой». Не «Поводок». Я. Твой муж. Твой хирург. Твой защитник. Тот, кто клялся оберегать тебя.

Я опустился на колени рядом с носилками. Земля была тёплой от геотермальной активности, но я не чувствовал этого тепла. Я не чувствовал ничего, кроме холода — того самого внутреннего холода, который поселился во мне после воскрешения и который я надеялся изгнать с помощью Леры, с помощью нашей любви, с помощью мечты о будущем. Но Лера была здесь — и в то же время её не было. И я понял, что этот холод останется со мной навсегда.

— Прости меня, — прошептал я. — Пожалуйста, прости меня. Я знаю, что ты не слышишь. Я знаю, что эти слова бесполезны. Но я должен был сказать это. Я должен был признать — хотя бы перед самим собой, — что я виноват. Что я был слеп. Что я, врач, который лечил сотни пациентов, не заметил, как убивал самого близкого человека.

Ветер стих. Пустошь вокруг замерла в странном, неестественном безмолвии. Даже мутанты вдалеке перестали кричать. И в этой тишине я услышал — или мне показалось, что услышал — слабый, едва уловимый импульс через эмпатическую связь. Не слово. Не мысль. Просто... присутствие. Как будто где-то очень далеко, за стеной кататонии, Лера ответила мне.

Я поднял голову. Её лицо было таким же неподвижным, как и минуту назад. Её глаза — такими же пустыми. Но я был готов поклясться, что на долю секунды, на какое-то неуловимое мгновение, её губы дрогнули. Не в улыбке — просто в движении. В попытке ответить.

— Я верну тебя, — сказал я, поднимаясь. — Клянусь. Чем угодно. Своими сердцами. Своей паразитической сетью. Своими руками, которые умеют только резать и шить. Я верну тебя, даже если для этого мне придётся научиться тому, чего я не умею. Исцелять не тела. Души.

Я взялся за ручки носилок и двинулся дальше. Путь до бункера был долгим. Но я был готов идти столько, сколько потребуется. Потому что Лера была единственным, что имело значение. И я не собирался терять её снова.

Глава 2: Поддержание жизни

Хирургия учит нас, что организм имеет предел прочности. Кость выдерживает определённую нагрузку, после которой ломается — не сразу, не с первого удара, но микротрещины накапливаются, растут, соединяются, и однажды даже небольшое усилие приводит к катастрофе. Сердце качает кровь с определённой скоростью, после которой наступает аритмия — сначала редкие сбои, потом частые, потом фатальный хаос фибрилляции. Нервная система обрабатывает определённый объём боли, после которой отключается — не из слабости, а из милосердия. Это защитный механизм, выработанный эволюцией за миллионы лет. Когда боль становится невыносимой, сознание уходит. Оно покидает тело, как пациент покидает операционный стол после неудачной операции — тихо, без крика, почти незаметно для стороннего наблюдателя.

Но что происходит, когда сознание ушло, а тело осталось? Когда сердце всё ещё бьётся, лёгкие всё ещё дышат, нейроны всё ещё передают сигналы — но за этими сигналами больше нет личности? Учебники называют это вегетативным состоянием. Кататоническим ступором. Диссоциативным расстройством. Но учебники пишутся людьми, которые никогда не держали в руках тело собственной жены, не видели, как её глаза — ещё вчера полные жизни, пусть даже холодной, изменённой имплантами, — смотрят в потолок и не видят ничего. Учебники не говорят, что делать, когда пациент — не просто пациент, а часть тебя. Когда её сердцебиение — это ритм, под который ты засыпал. Когда её дыхание — это звук, который был единственным доказательством того, что ты не один в этом мёртвом мире. Когда её молчание — это не тишина, а крик, который звучит громче любого кардиомонитора.

Учебники не говорят, как вернуть душу в тело, которое ты сам же и опустошил.

Я стоял в медицинском отсеке бункера, глядя на Леру, и в моей голове крутились тысячи страниц медицинских текстов, которые я прочитал за годы учёбы и практики. Ни одна из них не давала ответа. Ни одна не предлагала протокола. Потому что то, что случилось с Лерой, не было обычной кататонией. Это был не просто диссоциативный ступор, вызванный психологической травмой. Это было отключение, инициированное нейро-спинальным комплексом «Химера-9» — сложной биоорганической системой, которую я сам имплантировал ей несколько недель назад. Система, спроектированная для максимальной боевой эффективности, провела анализ ситуации и приняла решение: личность носителя несовместима с выживанием. Слишком много боли. Слишком много травм. Слишком много стресса. Если оставить сознание включённым, оно разрушит тело — через психосоматические реакции, через отказ органов, через паралич воли, который сделает Леру лёгкой добычей для любого мутанта. Поэтому комплекс отключил сознание. Сохранил тело, пожертвовав личностью. Как хирург отсекает гангренозную конечность, чтобы спасти пациента.

Это было логично. Это было эффективно. Это было именно то, что сделал бы я сам в аналогичной ситуации — если бы рассматривал Леру только как биологический организм, а не как женщину, которую я люблю.

Но я не рассматривал её как организм. Я рассматривал её как Леру. Как мою жену. Как моего симбиота. Как единственное существо в этом проклятом мире, которое делало моё функционирование осмысленным. И я должен был вернуть её. Не просто сохранить её тело — я уже сохранил его, притащив носилки через половину Пустоши. Я должен был вернуть её

сознание. Её личность. Её душу — или то, что от неё осталось после месяцев операций, боёв и потерь.

Но как?

Я стоял в медицинском отсеке уже полчаса, не двигаясь. Моя правая рука дрожала — тот самый тремор, который исчез после вчерашней казни, а теперь вернулся с новой силой. Вокруг меня гудели аппараты, мерцали мониторы, тихо жужжали системы жизнеобеспечения бункера. Лера лежала на хирургическом столе, куда я перенёс её с носилок. Её глаза были открыты. Её грудь равномерно поднималась и опускалась. Её сердце — я слышал его через паразитическую сеть — билось с частотой семьдесят два удара в минуту. Идеальный ритм. Идеальное функционирование. Идеальная пустота.

Пульс лежал у двери, положив голову на лапы. Его жёлтые глаза следили за каждым моим движением. Он не скулил, не требовал внимания — просто ждал. Он понимал, что происходит что-то важное. Что-то, что определит судьбу всей стаи. И он доверял мне — своему альфа-самцу, своему создателю, своему врачу. Он верил, что я найду решение.

Я не был так уверен.

— Система, — произнёс я, и мой голос, усиленный некротической модуляцией, прозвучал хрипло, надтреснуто, как старая запись на виниловой пластинке. — Полный анализ состояния носителя «Лера». Все параметры. Приоритет: наивысший.

Интерфейс вспыхнул перед моим внутренним взором, и данные хлынули потоком — температура, давление, энцефалограмма, активность нейро-спинального комплекса, уровни гормонов, насыщение тканей кислородом. Я читал их с той скоростью, на которую был способен только в режиме экстренной диагностики, и каждая цифра подтверждала то, что я уже знал.

[ДИАГНОСТИКА НОСИТЕЛЯ «ЛЕРА»: ЗАВЕРШЕНА.]

[ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: СТАБИЛЬНО. ВСЕ ОРГАНЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ. НЕЙРО-СПИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХИМЕРА-9»: АКТИВНОСТЬ 43% ОТ НОРМЫ. ПРИЧИНА: ЗАЩИТНЫЙ ПРОТОКОЛ «ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ».]

[ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС: ОСТРЫЙ ДИССОЦИАТИВНЫЙ СТУПОР. ЛИЧНОСТЬ НОСИТЕЛЯ НЕДОСТУПНА. ПОПЫТКИ ЭМПАТИЧЕСКОГО КОНТАКТА БЕЗУСПЕШНЫ. СВЯЗ СУЩЕСТВУЕТ, НО СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ. АНАЛОГ: РАБОТАЮЩИЙ ПЕРЕДАТЧИК, НАСТРОЕННЫЙ НА ЧАСТОТУ, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ.]

[ПРОГНОЗ: БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА — СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ НЕОПРЕДЕЛЁННО ДОЛГО. ВМЕШАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ (ФАРМАКОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ) НЕВОЗМОЖНО: НЕЙРО-СПИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЛОКИРУЕТ ЛЮБОЕ ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЫСШИЕ ФУНКЦИИ.]

[РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ДАННЫЙ СЛУЧАЙ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЗВЕСТНЫХ СИСТЕМЕ ПРОТОКОЛОВ. ТРЕБУЕТСЯ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ.]

— Нестандартное решение, — повторил я вслух и горько усмехнулся. — Ты предлагаешь мне импровизировать?

Система не ответила. Она не была запрограммирована на риторические вопросы. Она просто вывела последнюю строку: «ТРЕБУЕТСЯ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ» — и замолчала, ожидая моих указаний.

Я отошёл от стола и начал мерить шагами медицинский отсек. Это было привычное движение — я всегда ходил, когда думал, даже в ординатуре, даже до того, как стал Некромантом. Ходьба помогала структурировать мысли. Ритм шагов задавал ритм размышлений. Но сейчас этот ритм был сбивчивым, хаотичным, как и всё в моей голове.

Я думал о том, что знаю о мозге. О сознании. О личности. В ординатуре нам говорили, что личность — это не орган. Это не структура, которую можно увидеть на МРТ или вырезать скальпелем. Это паттерн. Сложный, многослойный паттерн нейронных связей, который формируется годами и хранит в себе всё, что делает нас нами — воспоминания, привычки, страхи, надежды, любовь. Когда этот паттерн нарушается — из-за травмы, болезни или отключения, как в случае Леры, — личность исчезает. Но исчезает ли она навсегда? Или она где-то там, глубоко в нейронной сети, ждёт, когда её снова активируют?

Я не знал. Никто не знал. Сознание было последней великой загадкой медицины — той областью, где даже самые передовые технологии «Бионики» оказывались бессильны. Можно имплантировать сердце. Можно заменить позвоночник. Можно перестроить тело так, что оно перестанет подчиняться законам жизни и смерти. Но нельзя имплантировать душу. Нельзя заменить личность протезом. Нельзя перезагрузить сознание, как перезагружают компьютер.

Или можно?

Эта мысль пришла внезапно — как вспышка молнии среди ясного неба. Она была безумной, опасной, противоречащей всему, чему меня учили. Но она была единственной мыслью, которая предлагала хоть какой-то выход из тупика. Если я не могу восстановить сознание Леры извне — фармакологией, психотерапией, нейростимуляцией, — я должен восстановить его изнутри. Через нашу эмпатическую связь. Через паразитическую сеть, которая соединяла нас на уровне более глубоком, чем нейроны и синапсы.

Но для этого мне нужно было сохранить её тело. Идеально сохранить. Не просто поддерживать жизнь — это делал нейро-спинальный комплекс, — а обеспечить идеальные условия для функционирования мозга. Потому что мозг, даже отключённый, даже лишённый сознания, всё ещё был живым органом, которому требовались кислород, глюкоза, энергия. И если я хотел, чтобы личность Леры когда-нибудь вернулась, я должен был обеспечить этот мозг всем необходимым. Должен был превратить её тело в инкубатор. В кокон. В машину жизнеобеспечения, которая будет работать с абсолютной, механической точностью — лучше, чем любое человеческое тело.

Я остановился. Посмотрел на Санитара-2-Стрелка, который стоял в углу медицинского отсека — молчаливый, неподвижный, с рукой-винтовкой, направленной в пол. Его оптический сенсор горел ровным зелёным светом. Его биобатарея была заряжена на восемьдесят процентов. Его сердце — точнее, некро-механический насос, который перегонял ихор по его сосудам вместо крови, — билось с частотой шестьдесят ударов в минуту. Идеальный, ровный ритм. Ритм, который не зависел ни от эмоций, ни от усталости, ни от боли. Ритм машины.

И тогда меня осенило.

— Санитар, — произнёс я, и мой голос был спокойным, клиническим, лишённым эмоций — таким, каким он всегда становился, когда я принимал трудное решение. — Подойти к операционному столу.

Конструкт шагнул вперёд. Его гидравлические ноги, которые я заменил после гибели Бегуна, двигались плавно, бесшумно, с той же механической точностью, что и всё в нём.

— Ложись на соседний стол, — приказал я. — Режим полного подчинения. Отключить все защитные протоколы. Открыть доступ к ядру жизнеобеспечения.

— Принято, — ответил Стрелок без колебаний. Он лёг на второй хирургический стол, который я использовал для операций над конструктами. Его оптический сенсор продолжал гореть зелёным — он не испытывал страха, не задавал вопросов, не сомневался. Он просто выполнял приказ. Потому что он был конструктом. Потому что его функция была в том, чтобы служить мне.

Я взял скальпель. Тот самый скальпель номер десять, которым я убил Сестру, оперировал Леру, пытал командира «Чистых». Моя правая рука всё ещё дрожала, но я знал, что как только я сделаю первый разрез, тремор исчезнет. Так было всегда. В бою, во время операции, в моменты максимального напряжения моё тело переставало быть человеческим и становилось инструментом. Инструментом хирурга. Инструментом Некроманта.

— Ты не будешь страдать, — сказал я Стрелку, хотя знал, что он не нуждается в утешении. — Ты не можешь страдать. Но твоя жертва спасёт её. А её спасение — это моя функция. Это функция всей нашей группы. Ты понимаешь?

— Понимаю, — ответил конструкт. — Моя функция — служить. Моя функция выполнена.

Я сделал первый разрез.

— — Часть 2: Трансплантация принципа

Вскрытие конструктора отличалось от вскрытия человека. Здесь не было крови — только икор, тёмный, вязкий, пульсирующий в трубках и резервуарах. Не было мышц в человеческом смысле — только синтетические волокна, усиленные некротической энергией. Не было костей — только металлический каркас, на который крепились все остальные структуры. И в центре этой механики, в грудной полости, защищённое хитиновыми пластинами, находилось ядро жизнеобеспечения — некро-механический насос, который заменял конструктору сердце.

Я видел его сотни раз. Я сам собирал такие насосы из деталей, добытых в разграбленных лабораториях «Бионикой». Каждый конструктор в моей армии имел такое ядро — оно было стандартным компонентом, базовым элементом, без которого функционирование было невозможно. Но сейчас я смотрел на него по-новому. Не как на деталь. Не как на инструмент. А как на решение.

Насос Стрелка был мощнее, чем у обычного Санитара. Я модернизировал его после гибели Бегуна, заменив стандартную биобатарею на усиленную, способную поддерживать функционирование в течение нескольких недель без подзарядки. Он мог перекачивать до десяти литров икора в минуту — в пять раз больше, чем требовалось для поддержания жизни в конструкторе. У него был запас прочности, рассчитанный на экстремальные боевые нагрузки. И теперь этот запас прочности должен был послужить другой цели.

Я работал быстро и точно. Скальпель рассекал ткань за тканью, обнажая внутреннюю структуру конструктора. Хитиновые пластины, которые я срезал с Разрушителя несколько месяцев назад и имплантировал Стрелку для дополнительной защиты, поддавались с трудом — они были прочнее стали, — но мой коготь на левой руке справлялся с ними. Я срезал их одну за другой, откладывая в сторону — они могли пригодиться позже, для других операций. Ресурсы есть ресурсы, даже в такой момент.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.